

ЧИСТЫЙ ПОНЕДѢЛЬНИК

Темнѣлъ московскій сѣрый зимній день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освѣщались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дѣлъ московская жизнь: гуще и бодрѣй неслись извозничьи санки, тяжелѣй гремѣли переполненные, ныряющіе трамваи, — в сумракѣ уже видно было, как с шипѣніем сыпались с проводов зеленыя звѣзды, — оживленнѣе спѣшили по снѣжным тротуарам мутно чернѣющіе прохожіе... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысакѣ мой кучер — от Красных Ворот к Храму Христа-Спасителя: она жила почти против него; каждый вечер я возил ее обѣдать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», послѣ обѣда в театры, на концерты, а там к Яру, в «Стрѣльну»... Чѣм все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно — так же, как и говорить с ней об этом, она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношенія, — совсѣм близки мы все еще не были; и все это без конца держало меня в неразрѣшающемся напряженіи, в мучительном ожиданіи чего-то — и вмѣстѣ с тѣм был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возлѣ нея.

Она зачѣм-то училась на курсах, довольно рѣдко посѣщала их, но посѣщала. Я как-то спросил: «Зачѣм?» Она пожала плечом: «А зачѣм все дѣлается на свѣтѣ? Развѣ мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кромѣ того, исторія интересует меня...». Жила она одна, — вдовый отец ея, просвѣщенный человек знатнаго купеческаго рода, жил на покоѣ в Твери, что-то, как всѣ такіе купцы, собирал. В домѣ против Храма-Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этажѣ, всего двѣ комнаты, но просторныя и хорошо

обставленные. В первой много мѣста занимал широкой турецкій диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты», — только одно начало, — на пианино и на подзеркальничѣ цвѣли в граненых вазах нарядные цвѣты, — по моему приказу ей доставляли каждую субботу свѣжіе, — и когда я прїѣзжал к ней в субботній вечер, она, лежа на диванѣ, над которым зачѣм-то висѣл портрет босого Толстого, неспѣша протягивала мнѣ для поцѣлуя руку и разсѣянно говорила: «Спасибо за цвѣты...». Я привозил ей коробки шоколаду, новыя книги, — Гофманстала, Шницлера, Тетмайера, Шибышевскаго, — и получал все то-же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказаніе сѣсть возлѣ дивана, не снимая пальто: «Непонятно, почему, — говорила она в раздумьи, глядя мой бобровый воротник, — но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимняго воздуха, с которым входишь со двора в комнату...». Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цвѣты, ни книги, ни обѣды, ни театры, ни ужины за городом, хотя всетаки цвѣты были у нея любимые и нелюбимые, всѣ книги, какія я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду с'ѣдала за день цѣлую коробку, за обѣдами и ужинами ѣла не меньше меня, любила растегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крѣпко прожаренной сметанѣ, иногда говорила: «не понимаю, как это не надоѣст людям всю жизнь, каждый день обѣдать, ужинать», но сама и обѣдала и ужинала с московским пониманіем дѣла. Явной слабостью ея была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мѣх...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губерніи, был в ту пору красив почему-то южной, горячей красотой, был даже «неприлично красив», как сказал мнѣ однажды один знаменитый актер, чудовишно толстый человекъ, великій обжора и умница, — «чорт вас знает, кто вы, сициліанец какой-то», сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбкѣ, к доброй шуткѣ. А у нея красота

была какая-то индiйская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолѣпные и нѣсколько зловѣщiе в своей густой чернотѣ волосы, мягко блестящiя, как черный соболiй мѣх, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; плѣнительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттѣнен был темным пушком; выѣзжая, она чаще всего надѣвала гранатовое бархатное платье и такiя-же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копѣек в вегетарианской столовой на Арбатѣ); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диванѣ с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядѣла перед собой: я это видѣл, заѣзжая иногда к ней и днем, потому что каждый мѣсяц она дня три-четыре совсѣм не выходила и не выѣзжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сѣсть в кресло возлѣ дивана и молча читать.

— Вы ужасно болтливы и непосѣдливы, — говорила она, — дайте мнѣ дочитать главу...

— Если бы я не был болтлив и непосѣдлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас, — отвѣчал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабрѣ, попав в Художественный Кружок на лекцiю Андрея Бѣлаго, который пѣл ее, бѣгая и танцуя на эстрадѣ, я так вертѣлся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в креслѣ рядом со мной и сперва с нѣкоторым недоумѣнiем смотрѣвшая на меня, тоже наконец разсмѣялась, и я тотчас весело обратился к ней.

— Все так, — говорила она, — но все-таки помолчите немного, почитайте чтонибудь, покурите...

— Не могу я молчать! Не представляете вы себѣ всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

— Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кромѣ отца и вас, у меня никого нѣт на свѣтѣ. Во всяком случаѣ вы у меня первый и послѣднiй. Вам этого мало? — Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайникѣ на столикѣ за отвалом дивана, брал из орѣховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря, что придет в голову:

— Вы дочитали «Огненного Ангела»?

— Досмотрѣла. До того высокопарно, что совѣстно читать.

— А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?

— Не в мѣру разудал был. Желтоволостую Русь вообще не люблю.

— Все-то вам не нравится!

— Да, многое...

«Странная любовь!» думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрѣл в окна. В комнатѣ пахло цвѣтами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина зарѣчной снѣжно-сизой Москвы; в другое, лѣвѣе, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в мѣру близко, бѣлѣла слишком новая громада Христа-Спасителя, в золотом куполѣ котораго синеватыми пятнами отражались галки, вѣчно вившіяся вокруг него... «Станный город! — говорил я себѣ, думая об Охотном рядѣ, об Иверской, о Василии Блаженном. — Василий Блаженный — и Спас на Бору, итальянскіе соборы — и что-то киргизское в остріях башен на кремлевских стѣнах...».

Пріѣзжая в сумерки, я иногда заставал ее на диванѣ только в одном шелковом архалукѣ отороченном соболем, — наследство моей астраханской бабушки, сказала она, — сидѣл возлѣ нея в полутьмѣ, не зажигая огня, и цѣловал ея руки, ноги, изумительное в своей гладкости тѣло... И она ни чему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ея жаркія губы — она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владѣть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свѣт, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящійся табуретик возлѣ піанино и постепенно приходил в себя, остывал от горячаго дурмана. Через четверть часа она выходила

из спальни одѣтая, готовая к выѣзду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

— Куда нынче? В «Метрополь», может быть?

И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскорѣ послѣ нашего сближенія, она сказала мнѣ, когда я заговорил о бракѣ:

— Нѣтъ, в жены я не гожусь. Почему, не знаю. Но не гожусь, не гожусь...

Это меня не обезнадежило, — «там видно будет!» — сказал я себѣ в надеждѣ на перемену ея рѣшенія со временем и больше не заговаривал о бракѣ. Наша неполная близость казалась мнѣ иногда невыносимой, но и тут — что оставалось мнѣ, кромѣ надежды на время? Однажды, сидя возлѣ нея в этой вечерней темнотѣ и тишинѣ, я схватился за голову:

— Нѣтъ, это выше моих сил! И зачѣм, почему надо так жестоко мучить меня и себя!

Она промолчала.

— Да, всетаки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

— Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

— Я, я знаю! — воскликнул я. — И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

— Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бреднѣ: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нѣту».

— Это что?

— Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

— Ах, Бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем — о новой постановкѣ Художественнаго Театра, о новом рассказѣ Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тѣсно сижу с ней в летящих и раскатывающих санках, держа ее в гладком мѣхѣ шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ѣм и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которыя цѣловал час тому назад, — да, цѣловал, цѣловал, говорил я себѣ, с

восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал груди, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: «Москва, Астрахань, Персія, Индія!». В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумнѣй становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелья, вела меня иногда в отдѣльный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакинѣ с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной чолкой... Она слушала пѣсни с томной, странной усмѣшкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на под'ѣзде, закрывая от счастья глаза, цѣловал в мокрый мѣх воротника и в каком-то восторженном отчаяніи летѣл к Красным Воротам. И завтра и послѣ-завтра будет все то же, — думал я, — все та же мука и все то же счастье... Ну что ж — всетаки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В Прощеное воскресенье она приказала мнѣ пріѣхать к ней в пятом часу вечера. Я пріѣхал, и она встрѣтила меня уже одѣтая, в короткой каракулевой шубкѣ, в каракулевой шляпкѣ, в черных фетровых ботиках.

— Все черное! — сказал я, входя, как всегда, радостно.

Глаза ее были ласковы и тихи:

— Вѣдь завтра уже Чистый понедѣльник, — отвѣтила она, вынув из каракулевой муфты и давая мнѣ руку в черной лайковой перчаткѣ. — «Господи Владыко живота моего...» Хотите поѣхать в Новодѣвичій монастырь?

Я удивился, но поспѣшил сказать:

— Хочу!

— Что ж все кабаки да кабаки, — прибавила она. — Вот вчера утром я была на Рогожском кладбищѣ...

Я удивился еще больше:

— На кладбищѣ? Зачѣм? Это знаменитое раскольничье?

— Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили ихнего

архіепископа. И вот представьте себѣ: гроб — дубовая колода, как в древности, золотая парча, будто кованная, лик усопшаго закрыт бѣлым Воздухом, шитым крупной черной вязью — красота и ужас. А у гроба діаконы с рипидами и трикириями...

— Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии!

— Это вы меня не знаете.

— Не знал, что вы так религиозны.

— Это не религиозность. Я не знаю, что... Но я, напримѣр, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевскіе соборы, а вы даже и не подозреваете этого... Так вот: діаконы — да какіе! Пересвѣт и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересвѣты: высокіе, могучіе, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаются, — то один хор, то другой, — и все в унисон и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми вѣтвями, а на дворѣ мороз, солнце, слѣпит снѣг... Да нѣтъ, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-красных стѣнах монастыря болтали в тишинѣ галки, похожія на монашенок, куранты то и дѣло тонко и грустно играли на колокольнѣ. Скрипя в тишинѣ по снѣгу, мы вошли в ворота, пошли по снѣжным дорожкам по кладбищу, — солнце только что сѣло, еще совсѣм было свѣтло, дивно рисовались на золотой эмали заката сѣрым кораллом сучья в инеѣ и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимыя лампадки, разсѣянные над могилами. Я шел за ней, с умиленіем глядѣл на ея маленькій слѣд, на звѣздочки, которыя оставляли на снѣгу новые черные ботики — она вдруг обернулась, почувствовав это:

— Правда, как вы меня любите! — сказала она с тихим недоумѣніем, покачав головой.

Мы постояли возлѣ могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфтѣ, она долго глядѣла на чеховскій могильный памятник, потом пожала плечом:

— Какая противная смѣсь сусального русскаго стиля со стилем Художественнаго Театра!

Стало темнѣть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возлѣ которых покорно сидѣл на козлах мой Федор.

— Поѣздим еще немножко, — сказала она, — потом поѣдем ѣсть послѣдніе блины к Егорову... Только не шибко Федор, — правда?

— Слушаю-с.

— Гдѣ-то на Ордынкѣ есть дом, гдѣ жил Грибоѣдов. Поѣдем его искать...

И мы зачѣм-то поѣхали на Ордынку, долго ѣздили по каким-то переулкам в садах, были в Грибоѣдовском переулкѣ; но кто-ж мог указать нам, в каком домѣ жил Грибоѣдов, — прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоѣдов? Уже давно стемнѣло, розовѣли за деревьями в инеѣ освѣщенныя окна...

— Тут есть еще Марфо-Маринская обитель, — сказала она.

Я засмѣялся:

— Опять в обитель?

— Нѣтъ, это я так...

В нижнем этажѣ в трактирѣ Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одѣтыми извощиками, рѣзавшими стопки блинов, залитых сверх мѣры маслом и сметаной, было парно как в банѣ. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозавѣтные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, гдѣ в углу, перед черной доской иконы Богородицы Троеручицы, горѣла лампадка, сѣли за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ея верхней губѣ был в инеѣ, янтарь щек слегка розовѣл, чернота райка совсѣм слилась с зрачком, — я не мог отвести восторженных глаз от этого инея. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты:

— Хорошо! Внизу дикіе мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручица. Три руки! Вѣдь это Индія! Вы — барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.

— Могу, могу! — отвѣчал я. — И давайте закажем обѣд силен!

— Как это «силен»?

— Это значит — сильный. Как же вы не знаете? «Рече Гюрги...».

— Как хорошо! Гюрги!

— Да, князь Юрій Долгорукій. «Рече Гюрги ко Свято-славу, князю Съверскому: «приди ко мнѣ, брате, в Москву» и повелѣ устроить обѣд силен».

— Как хорошо. И вот только в каких-нибудь сѣверных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных пѣснопѣніях. Недавно я ходила в Зачатьевскій монастырь — вы представить себѣ не можете, до чего дивно поют там стихиры! А на Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо! Вездѣ лужи, воздух уж мягкій, на душѣ как-то нѣжно, грустно и все время это чувство родины, ея старины... Всѣ двери в соборѣ открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодскій, вятскій!

Я хотѣл сказать, что тогда и я уйду или зарѣжу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забывшись от волненія, но подошел половой в бѣлых штанах и бѣлой рубахѣ, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:

— Извините, господин, курить у нас нельзя...

И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой:

— К блинкам что прикажете? Домашняго травничку? Икорки, семушки? К ушицѣ у нас херес на рѣдкость хорош есть, а к наважкѣ...

— И к наважкѣ хересу, — прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже разсѣянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим свѣтом в глазах:

— Я русское лѣтописное, русскія сказанія так люблю, что до тѣх пор перечитываю то, что особенно нравится, пока

наизусть не заучу. «Был в русской землѣ город, названіем Муром, в нем же самодержавствовал благовѣрный князь, именем Павел. И вселил к женѣ его Діавол летучаго змѣя на блуд. И сей змѣй являлся ей в естествѣ человѣческом, зело прекрасном...».

Я шутя сдѣлал страшные глаза:

— Ой, какой ужас!

Она, не слушая, продолжала:

— Так испытывал ее Бог. «Когда же пришло время ея благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня представиться им в один день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велѣли вытесать в едином камнѣ два гробных ложа. И облеклись, такожде единовременно, в монашеское одѣяніе...»

И опять моя разсѣянность смѣнилась удивленіем и даже тревогой: что это с ней нынче?

И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой совсѣм не в обычное время в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на под'ѣздѣ, вдруг задержала меня, когда я уже сядился в сани:

— Погодите. Заѣзжайте ко мнѣ завтра вечером не раньше десяти. Завтра «Капустник» Художественнаго Театра.

— Так что? — спросил я. — Вы хотите поѣхать на этот «Капустник»?

— Да.

— Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлѣе этих «Капустников»!

— И теперь не знаю. И все-таки хочу поѣхать.

Я мысленно покачал головой, — все причуды, московскія причуды! — и бодро отозвался:

— Ол райт!

В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифтѣ к ея двери, я отворил ее англійским ключом и не сразу вошел из темной прихожей: за ней было необычно свѣтло, все было зажжено, — люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана,

и пианино звучало началом «Лунной сонаты» — все повышаясь, звуча čím дальше, čím все томительнѣе, призывнѣе, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, — звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел — она прямо и нѣсколько театрально стояла возлѣ пианино в черном бархатном платьѣ, дѣлавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой золотистостью обнаженных рук, плеч, нѣжнаго, полного начала груди, сверканіем алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полуколючками загибались к глазам черныя лоснящіяся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.

— Вот если бы я была пѣвица и пѣла на эстрадѣ, — сказала она, глядя на мое растерянное лицо, — я бы отвѣчала на аплодисменты привѣтливой улыбкой и легкими поклонами, вправо и влѣво, вверх и в партер, а сама бы незамѣтно, но заботливо отстраняла движеніем ноги шлейф, чтобы не наступить на него...

На «Капустникѣ» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрѣла на актеров, с бойкими выкриками и припѣвами изображавших какое-то парижское “revue”, на большого Станиславскаго с бѣлыми волосами и черными бровями и плотнаго Москвина в пенснэ на корытообразном лицѣ, — оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выдѣлывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в рукѣ, блѣдный от хмѣля, с холодным потом на лбу, на который свисал клок его бѣлорусских волос, Качалов, поднял бокал, и с дѣланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим мелодически-низким актерским голосом:

— Царь-Дѣвица, Шамаханская царица, твое здоровье!

И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:

— А это что за красавец? Ненавижу...

Потом захрипѣла, засвистала и загремѣла, вприпрыжку затопала полькой шарманка — и к нам, скользя, подлетѣл маленький, вѣчно куда-то спѣшашій и смѣющійся Сулержицкій, изогнулся, изображая гостиннодворскую галантность, поспѣшно пробормотал:

— Дозвольте пригласить на полечку Транблан...

И она, улыбаясь, поднялась и, ловко коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тѣм как он, задрав голову, кричал козлом:

Пойдем, пойдем поскорѣе
С тобой польку танцовать!

В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы одѣлись, посмотрѣла на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:

— Конечно, красив. Качалов правду сказал... «Змѣй в естествѣ человѣческом, зело прекрасном...»

Дорогой молчала, клоня голову от свѣтлой, лунной метели, летѣвшей навстрѣчу. Полный мѣсяц нырял в облаках над Кремлем, — «какой-то свѣтящійся череп», сказала она. На Спасской башнѣ часы били три, — еще сказала:

— Какой древній звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тѣм же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом вѣкѣ. И во Флоренціи совсѣм такой-же бой, он там напоминал мнѣ Москву...

Когда Федор осадил у под'ѣзда, безжизненно приказала:
— Отпустите его...

Пораженный, — никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, — я растерянно сказал:

— Федор, я вернусь пѣшком...

И мы молча потянулись вверх в лифтѣ, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в

калориферах. Я снял с нея скользкую от снѣга шубку, она сбросила с волос на руки мнѣ мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я раздѣлся и с замирающим точно над пропастью сердцем сѣл на турецкій диван. Слышны были ея шаги за открытыми дверями освѣщенной спальни, то, как она, цѣпляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, золотистая, крѣпкая, стояла, спиной ко мнѣ, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черныя нити длинных, висѣвших вдоль лица волос.

— Вот все говорил, что я мало о нем думаю, — сказала она, бросив гребень на подзеркальник, и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мнѣ: — Нѣтъ, я думала...

На разсвѣтѣ я почувствовал ея движеніе. Открыл глаза — она в упор смотрѣла на меня. Я приподнялся из тепла постели и ея тѣла, она обняла мою голову, склоняясь ко мнѣ, тихо и ровно говоря:

— Нынче вечером я уѣзжаю в Тверь. Надолго-ли, один Бог знает...

И прижалась щекой к моей, — я чувствовал, как моргает по ней ея мокрая рѣсница:

— Я все напишу, как только приѣду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...

И легла на подушку.

Я осторожно одѣлся, робко поцѣловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лѣстницу, уже свѣтлѣющую блѣдным свѣтом. Шел пѣшком по молодому липкому снѣгу, — метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снѣгом и из пекаренъ. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сіяла цѣлыми кострами свѣчей, стал в толпѣ старух и нищих на растоптанный снѣг на колѣни, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо — я посмотрѣл: какая-то несчастнѣйшая старушонка глядѣла на меня, морщась от жалостных слез:

— Ох, не убивайся, не убивайся так! Грѣх, грѣх!

Письмо, полученное мною недѣли через двѣ послѣ того, было кратко — ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видѣть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушаніе, потом, может быть, рѣшусь на постриг... Пусть Бог даст сил не отвѣчать мнѣ — бесполезно длить и увеличивать нашу муку...».

Я исполнил ее просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться — равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того Чистаго понедѣльника...

В четырнадцатом году, под новый год, был такой-же тихій, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поѣхал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумракѣ, глядя на слабое мерцанье стараго золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, — стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишинѣ пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велѣл извозчику ѣхать на Ордынку, шагом ѣздил, как тогда, по темным переулкам в садах с освѣщенными под ними окнами, проѣзжал по Грибоѣдовскому переулку — и все плакал, плакал...

На Ордынкѣ я остановил извозчика у ворот Марфо-Маріинской обители: там во дворѣ чернѣли кареты, видны были раскрытыя двери небольшой освѣщенной церкви, из дверей горестно и умиленно несло пѣніе дѣвичьего хора. Мнѣ почему-то захотѣлось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мнѣ дорогу, прося мягко, умоляюще:

— Нельзя, господин, нельзя!

— Как нельзя? В церковь нельзя?

— Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за ради Бога, не ходите, там сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великій князь Митрій Палыч...

Я сунул ему рубль — он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомыя на руках иконы, хоругви, за ними, вся в бѣлом, длин-

ном, тонколикая, в бѣлом обрусѣ с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свѣчей в рукѣ, великая княгиня; а за нею тянулась такая же бѣлая вереница поющих, с огоньками свѣчек у лиц, инокинь или сестер, — уж не знаю, кто были онѣ и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрѣл на них. И вот одна из идущих по срединѣ вдруг подняла голову, крытую бѣлым платом, загородив свѣчку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла видѣть в темнотѣ, как могла она почувствовать мое присутствіе? Я повернулся и тихо вышел из ворот.

Иван Бунин.

12.V.1944.